

**Алчевська Х. Д. Передуманное и пережитое :** [отрывки] / Х. Д. Алчевська // Антологія педагогічної думки Української ССР / Сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогіка, 1988. – С. 255-269. – Содерж.: Школа прежде и теперь ; Жива ли школа?; План уроков по звуковому методу, прочитанный Х. Д. Алчевской в собрании учительниц.

## **Школа прежде и теперь**

### ***Заметка об удачных и неудачных уроках в школе***

Говорят, будто к каждому уроку в школе учитель неминуемо должен готовиться, что необходимо ему пересмотреть несколько раз одну и ту же статью, задуматься над каждой фразой, над каждым словом даже – поймут ли ученики это понятное нам слово, не имеет ли оно еще какого-либо постороннего смысла и т. д. Необходимо также задуматься над выводами статьи, над моралью, которую возможно из нее извлечь, необходимо подумать, какой пример нужно привести в том или другом случае.

Все это я знала давным-давно, все это исполняла по мере возможности, и вдруг... со мной случилось нечто, случилось осязательно, реально, что идет вполне вразрез с этой патентованной аксиомой, с этим азбучным педагогическим правилом.

Две недели тому назад, накануне воскресенья, я узнала, что брат мой сильно болен. В воскресенье я должна была заменить его на уроке. Расстроенная, после бессонной ночи, с щемящими от слез глазами, подошла я утром к газетнице с рассеянною мыслью, нет ли тут чего-либо такого, что я могла бы прочесть ученицам. Глаза мои упали на развернутую книжку «Отечественных записок». Она лежала открытая на странице со стихотворением на смерть Некрасова. Я учу обыкновенно наизусть стихи, которые мне нравятся. Так я учила на днях и эти стихи, почему и книжка осталась открытою. Настроение моего духа вполне совпадало с грустной темой стихотворения. Я взяла «Отечественные записки», захватила тут же лежавшее Полное собрание сочинений Некрасова и, связавши все это веревочкой, пошла в школу.

В первой комнате я встретила С... Но прежде, чем передать мой разговор с ним, мне необходимо разъяснить, почему именно я дорожила его критикой. Сделаю отступление: несколько месяцев тому назад появились у нас в школе два молодых человека – студента – один «белый», один «черный», как называли мы их. Кто они, откуда и зачем пришли в школу, никто не знал; между тем они очень свободно наметили себе группы и стали заниматься. Может быть, свобода эта была кажущаяся, может быть, желание послужить делу народного образования было сильнее боязни получить афронт – я не знаю. Впоследствии оказалось даже, что им открыл доступ в школу один из наших преподавателей, но не в этом дело.

Иных шокировала эта развязность. Разве у нас нет общества учительниц? Разве у нас нет собраний? Разве мы не хозяева нашего дела? Разве не следовало

заблаговременно осведомиться, желаем ли мы этого участия? Разве мы не должны беречь школу и от пропагандистов, и от шпионов? И много этих «разве» слышала я вокруг себя, но молчала, пока не трогали меня, а это троганье заключалось в следующем: «Вы ответственное лицо. Вы ведь распорядительница! Вы должны подойти и сказать им!» и т. д. Тут я рассердилась и заявила решительным тоном, что я никогда не была в роли жандарма и никогда не буду. Пусть кто угодно берет на себя звание распорядительницы и изгоняет студентов, а я не дорожу этим званием, навязанным мне начальством, как прошлогодним снегом, и буду очень рада отделаться от него. Меня почти оставили в покое, но мне было не легче – меня мучила неопределенность, положение этих господ – давно ли я сама была без диплома, давно ли висел надо мной этот дамоклов меч – бесправие, давно ли саму меня каждый мог выгнать из школы? Такие впечатления не скоро изглаживаются! Мне как-то становилось жутко при мысли, что, как мне представлять их! Что скажу я им, я – распорядительница, и я презирала себя за это звание. Я думала: неужели общественная деятельность возможна только с компромиссами и с подличаньем? Ведь, может быть, они любят школу больше, чем я, ведь, может быть, их любовь горячее, фанатичнее, и ведь их не двое только, не только эти «черный» и «белый», а ведь все они, вся эта учащаяся молодежь награждена волчьим билетом под названием: «Инструкция для народных школ». Где же почерпать им силы – этим жалким народным школам, если все, что честно, разумно, правдиво, отгорожено от них китайскою стеною!

Я пробегала быстро мимо наших отщепенцев и так же быстро взбегала наверх. Мне казалось, что туда им не достигнуть. Там я отдыхала от тяжелых впечатлений, но «белый» достиг и туда. Он просил у меня позволения бывать в собраниях, если нельзя посещать школу. Это было для меня уж слишком, и я дала себе слово исхлопотать ему это разрешение во что бы то ни стало, сама не зная, за кого я хлопочу и что из этого выйдет.

Ходатайство удалось. В первый же вечер я предполагала устроить новопришельцу экзамен, не с какими-нибудь административными соображениями, а просто как человеку, ставшему у дорогого мне дела, но экзамен не удался: с первых же слов он оказался знакомым и почитателем человека, настолько дорогого мне в прошлом, что, позабывши все свои соображения, я всецело отдалась воспоминаниям и вдруг почувствовала, что этот новопришелец гораздо ближе мне по своим убеждениям и симпатиям, чем многие давно знакомые мне люди. Из этой первой встречи я вынесла впечатление чего-то бодрого, свежего, честного, энергичного, чего-то такого, что не пришиблено давящей системой воспитания, что смело прокладывает себе путь в жизни на арене общественной деятельности, силы, которая не складывает безнадежно руки и не опускает покорно головы. Он напомнил мне мою молодость, мою давнишнюю счастливую встречу с человеком, который дал мне много горьких, много светлых минут и в результате – хорошее влияние. Я была подкуплена всем случившимся, но и в этом тумане я не могла не различать очень явственно, что этот человек, или, лучше сказать, юноша, искренно и дельно относится к школьному делу, что он много думал над ним,

много читал и что школа для него не игрушка, не забава, не времяпровождение, а серьезная задача, любимая цель.

Я замечаю в себе следующую странность: другие люди при встрече с незнакомым им человеком первым делом относятся к нему критически: да как, мол? да что? да прежде нужно посмотреть! нельзя же верить на слово! и т. д. Очень часто вслед за этим у них следует и увлечение, и доверие, и что хотите. А у меня наоборот... Впечатления захватывают меня всю разом, с ног до головы, через 10 минут я способна верить человеку безгранично, открыть ему всю душу, точно старому другу, и только потом, не скоро появляется критика, часто критика в высшей степени придирчивая, беспощадная, и человек умирает для меня так же быстро, как вырос. Пробовала исправлять себя в этом отношении – ломать, но не сломила.

С... находился еще в докритическом периоде, когда я встретила его в первой комнате.

— Можно послушать ваш урок? – спросил он, направляясь к моей комнате.

Я вспомнила, что я не готовилась к уроку, и мне стало стыдно и перед ним, и перед ученицами, и как будто перед целым светом.

— У меня брат болен! Я не готовилась к уроку! Пожалуйста, приходите в будущее воскресенье! – говорила я, с трудом удерживая слезы.

Он пощадил и ушел.

Я вошла в класс, встала, открыла «Отечественные записки» и вдруг почувствовала непреодолимое желание прежде, чем читать это стихотворение, рассказать ученицам: кто такой был Некрасов, какое он имел влияние, как любил народ. Все, что приходилось мне читать и слышать о нем в последнее время: «Дневник» Достоевского, жгучая речь студента, описание похорон – все это нахлынуло на меня, все это охватило меня с такою силою, что сердце билось, руки похолодели и голова горела, как в огне. Я не могла кончить без слез рассказа о похоронах, и, утирая слезы, я видела, как утирали их ученицы концами своих шейных платков.

Второй час. Я принялась за чтение и разбор стихотворения и всех самых трудных мест, как, например:

Песне твоей, о страданий певец,  
Будет не скоро желанный конец –  
Там он, где горе людское кончается,  
Там он, где счастья заря занимается.

Или Но ты оставил нам песни свободные,  
Ты научил нас борьбе...

Все эти места я разъяснила с такою легкостью, так понятно, что чувствовала себя вполне счастливою.

Третий час меня еще более убедил в успехе – то понимание, с которым ученицы перечитывали стихотворение, та жадность, с которою они спешили переписать его, и это общее обаяние, которое, казалось мне, было разлито вокруг, – все говорило об успехе. «Что же это будет, когда я приготовлюсь?» –

думала я, самодовольно улыбаясь и выходя из школы.

И я начала готовиться. Времени у меня было очень много – две недели впереди, так как последнее воскресенье перед постом мы никогда не занимаемся. Я выбрала одно из любимых своих стихотворений «Уличные сцены. Вор». Я никогда не могла без слез читать это стихотворение, где говорится:

Закушенный калач дрожал в его руке,  
Он был без сапог, в дырявом сюртуке,  
Лицо являло след недавнего недуга,  
Стыда, отчаянья, моленья и испуга...

Прежде – в молодости я обладала свойством засыпать, как только прислонюсь к подушке, но теперь я давно утратила эту способность, и, как бы рано ни легла я спать, до второго, до третьего часа я не могу заснуть. Все, что составляло «злобу дня», как-то особенно отчетливо проходит перед глазами, и, как бы ни была ничтожна эта «злоба дня», она вырастает во что-то важное, серьезное, неотступное.

Иногда я чувствую прилив счастья и от наполненного любимой работой дня, и от удавшегося собрания, и от полученного искреннего письма, и этот прилив так велик, что мне кажется, что нет на свете человека счастливее меня; иногда какая-нибудь ничтожная неудача кажется мне громадным несчастьем и приводит в неподдельное отчаяние.

«Злобу дня» последнего времени составляла подготовка к уроку: как только я ложилась в постель, в воображении моем рисовалась моя группа учениц, и я силилась предугадать, что может их заставить задуматься, что может оказаться непонятным, что может быть понято превратно. Я задумывалась над каждой строкой, над каждым словом и в особенности работала над двумя последними строками стихотворения:

И богу поспешил молебствие принести  
За то, что у меня наследственное есть!

Когда я советовалась относительно этих строк с другими, мне говорили, что ученицам недоступен иронический смысл этих строк, но я не верила. «Какой вздор!» – думалось мне, в этом-то и задача учителя, чтобы довести до сознания неосознанное, до понимания непонятное, и я строила свою беседу так:

— Всегда ли богатый человек может быть счастлив?

— Нет, не всегда!

— Может ли быть он счастлив, несмотря на свое богатство, видя, положим, что вокруг него другие люди умирают с голода, если только он добр и честен? Может ли он в эти минуты даже стыдиться своего богатства – стыдиться того, что он не роздал его, что он сыт, а они голодны?

— Может!

— Может ли он, видя голодного вора, думать о себе с насмешкой: «Да, я честен, но честен потому, может быть, что сыт, что не для чего мне воровать, а будь я голоден, может быть, и я бы точно так же стащил калач!»

— Может!

— Делает ли честь человеку, если он, ровно ничего не делая, не принося никакой пользы, живет на деньги, оставленные ему по наследству? Следует ли относиться к нему с уважением?

— Нет, не следует!

— А если все это так, то как вы думаете: в самом ли деле барин Некрасова благодарил бога, или же он смеялся над собой, сытым, сидящим в хорошем экипаже и едущим веселиться на отцовские деньги, в то время как голодный нищий украл калач?

— Разумеется, смеялся!

И тысяча вариантов приходила мне по этому поводу в голову – один лучше другого, и я заблаговременно радовалась успеху, но... заглянем на урок.

Ученицы уселись и стихились. С... поместился в стороне. Я чувствовала несвойственное мне волнение от постороннего лица; неробкая по природе, я никогда не робею перед слушателями; напротив, вся нервная система в подобных случаях как-то напрягается, и урок выходит еще оживленнее, еще бойчее. Как-то я говорила в шутку, что мне необходимо приглашать посторонних для того, чтобы лучше преподавать. Откуда же это досадливое волнение? Разве причина его вот в чем – каждый посторонний приходит с целью послушать урок и, пожалуй, похвалить, подкупленный доброй славой нашей школы, а в С... мне чудилось другое – мне чудилось предвзятое намерение раскритиковать во что бы то ни стало! «А! Вы тогда не пустили: мол, не готовились... Посмотрим теперь – после тщательного приготовления!» В начале нашего знакомства мне казалось, что С... относится ко мне довольно хорошо, довольно тепло, а в последнее время в его отношениях стали мелькать для меня тени высокомерии, скептицизма и всего такого, что навело на меня эту неприятную мысль в критическую минуту начала урока.

Показавши классу несколько картинок из нового альбома, изданного в память Некрасова, я открыла книгу и стала читать «Вор». При первых же строках я почувствовала, что стихотворение это потеряло для меня всю свою обаятельную силу, весь букет. Я не жила больше с ним ни сердцем, ни воображением. Это было нечто отжившее для меня и разложившееся на части. И вдруг мне пришла в голову сцена, виденная мною когда-то давно. Это было на публичной лекции: толстяк профессор для подтверждения какого-то своего научного положения взял в руки полную жизненного трепета птичку, посадил под колпак, и она задохлась. Потом он распотрошил ее на части, и мы видели все – и ножки, и крылышки, и головку – и знали обо всем гораздо более, чем прежде, но не было одного – не было животрепещущей птички, и мне было так жаль ее, что я готова была отдать все свои новые сведения за ее жизнь. То же чувствовала я в отношении своего стихотворения – я могла объяснить каждое слово в отдельности, но души больше не было, это было мертвое, бездыханное тело.

С каждой минутой энергия падала во мне все более и более, я чувствовала всю несостоятельность своих наготовленных заблаговременно разъяснений; я объясняла то, что оказывалось и без того понятным, и была

бессильна растолковать непонятное; наконец, подойдя к последним двум и без того критическим строчкам, я до того растерялась, что плохо соображала, что говорю. На второй и третьей скамьях я заметила два-три зеваки и не знаю, чем все это кончилось бы, если бы С... не ушел без оглядки из класса и если бы я не слышала звонка. Тут я вспомнила один из наших разговоров с ним, когда он сказал, что, если ему стыдно за кого-нибудь, он тотчас бежит прочь.

Я возвращалась из школы такою несчастною, как, кажется, никогда, и в то же время мне было досадно на себя: «Что же в сущности случилось? Ровно ничего! Неудачный урок! Но с кем же этого не бывает и что мне за дело, что подумает обо мне этот гордый, самолюбивый и избалованный успехом в обществе, или, лучше сказать, успехом в дамском обществе, мальчик, годящийся мне в сыновья. Я никогда не симпатизировала этому типу – эта избалованность редко не парализует в юноше задатки стать со временем человеком дела». Но мне кажется, причина лежала глубже этой критической оценки С..., которая явилась во мне в последнее время благодаря тем мимолетным, ничтожным и, по-видимому, незначимым проявлениям, вследствие которых тем не менее часто складывается в итоге мнение о человеке. Причина лежала, как мне кажется, в разладе с аксиомой, в которую я привыкла верить, что к каждому уроку следует тщательно готовиться. «Так ли это? – болел во мне вопрос, – и не рациональнее ли, не естественнее ли создавать разъяснение там, в классе, на месте, создавать разъяснение тому, что оказалось вопиюще непонятным, останавливаться только над тем, что не пускает двигаться вперед, и прислушиваться к душе ученика не разумом, а сердцем?! И неужели доля вдохновения неуместна там, в классе, неужели все должно быть рассчитано и размерено, как на какой-нибудь механической работе, где пригнан симметрически каждый гвоздик, и вы, не затрудняясь, ответите, зачем он заколочен».

Горького в моем раздумье было еще вот что: это сомнение в своих педагогических способностях и приемах. Что же это за учитель, думалось мне, который может хорошо прочесть урок тогда только, когда найдет на него вдохновение свыше, который никогда не может поручиться за то, каков будет его урок? Не лучше ли просто-напросто отказаться от преподавания и уступить место более способному? Ведь это не церковь, где необходимы проповедники, не лишенные подчас силы вдохновения, не театр, в котором немислим актер без вдохновения; здесь нужны деловые служители школы, уверенные в том, что из каждого урока ученик вынесет пользу. И мне вспомнился Силаков с его образцовым уроком объяснительного чтения: с какой уверенностью, с каким спокойствием стоял он перед незнакомым ему классом, как смело, просто и ясно повел беседу, как толково разъяснил каждое непонятное слово, как настойчиво преследовал цель уяснения неосознанного смысла. Эта уверенность настраивала как-то бодро и класс и слушателей... – и я давала себе слово уступить ему наши будущие уроки по объяснительному чтению, просить его подгонять приезды в Харьков к воскресеньям, чтобы бывать в школе.

Мне было больно это решение – я так много мечтала, так много строила планов по поводу этих будущих уроков, но... не уступить из-за личного

удовольствия было бы слишком эгоистично.

## Жива ли школа?

(Конфиденциальный допрос самой себя)

...Высоко держу знамя своего полка, на котором годы начертали девиз: «Безграничная преданность и вера в дело!» Присмотрюсь же я к нему, прислушаюсь – живо ли оно? Бьется ли пульс и бьется ли бодро, как у здорового человека, или как у чахоточного, обреченного на смерть?..

В воображении моем проходят собрания бурные, оживленные, как никогда: все говорят, все принимают участие; как это случилось – я не знаю; впрочем, может быть, и знаю – вот этот колдун, который, не боясь ни личных оскорблений, ни неприятностей, настойчиво, каждый раз посылает упрек учительницам в безличности, в индифферентном отношении к делу, в молчаливости, и он достиг своего, а я не достигла потому, что слишком учтивничала и церемонилась. Вот эта новая участница Калмыкова. Как она попала сюда? Она – жена председателя судебной палаты. И какой урок читает она – все в восторге, все аплодируют! Речь идет о воздухе. А критики? Кандидат естественных наук И. О. Фесенко, бакалавр естественных наук А. Д. Иванова, медики, ученица Герда – А. П. Грищенко. Она опять возвратилась к нам. Почему отстала? Дети одолели? Своих собственных шестеро! Но теперь как-то вышел антракт. Пришла на собрание, увлеклась и погибла, т. е. вновь приняла участие в школьных занятиях... А эта Калмыкова – почему она такая умная, милая, простая?! Когда мне еще до знакомства с нею сказали, что она – племянница Корфа и воспитывалась у него в доме, под его непосредственным влиянием, я вдруг почувствовала себя с нею в родстве... Кстати, о Корфе, вот пишет он о нашем разрыве с Миропольским:

«Многоуважаемая Х. Д.! Душевно благодарю вас за последнее письмо ваше. Благодарю вас за искреннюю, неизменную дружбу вашу ко мне, побуждающую вас отдать на суд мой размолвку между вашею воскресного школою и Миропольским. Вы знаете, что я люблю вашу школу и теперь, но вы знаете также, что я никогда не любил ее слепо, а потому, несомненно, убежден в том, что мои симпатии к школе отнюдь не отуманили моего рассудка; вопрос второй, насколько правильно сообразит сам рассудок.

Но вот что говорит мой рассудок после внимательного ознакомления с письмами Миропольского и протоколами школы: ни в строках, ни между строк нет ничего не только оскорбительного, но даже неделикатного по отношению к Миропольскому. Что касается самого дела, то я безусловно согласен с тем, что печатать отчеты в распространенном педагогическом издании целесообразнее, так как педагогическая пропаганда, к которой и призвана каждая школа, коснется гораздо большего числа лиц».

Итак, мы оправданы, а Миропольский обвинен, и обвинен человеком, которого я уважаю и которому он верил, что доказывает одно место его письма:

«Желал бы я услышать мнение Корфа о моей статье, очень желал бы» и т. д. И что же – легче ли мне от этого? Нет! Мне было бы легче только тогда, если бы он сам себя обвинил.

Но возвращусь к школе: мне представляется мой класс и пробный урок «О воздухе» (они писали с Калмыковой на конкурс – одна и та же тема). Мне представляются оживленные лица учениц – видно, что они так и ловят каждое слово, что все умственные способности напряжены, чтобы понять, усвоить, не пропустить, а на боковой скамье ряд учительниц с карандашами и бумажками – не менее внимательных и следящих, чем ученицы: вот и наш молодой бакалавр – Иванова, и Бирюкова со своими огромными, умными глазами, и Калмыкова, вся впившаяся в урок, и спокойная и сосредоточенная Грищенко, и оживленная, способная Распопова, и с детски-серьезным лицом Шевырева, и умница Ильяшева, и все эти люди, бескорыстно сгруппировавшиеся у бескорыстного дела; это ли благонамеренные филистеры, это ли материалисты-промышленники, это ли люди молчалинского девиза? Нет! Нет! – отвечали мне и рассудок, и сердце. Нет! – повторяло впечатление. Нет! – утверждало сознание; и я чувствовала, как бьется здоровый пульс в здоровом организме, и гордо подымала опустившуюся голову, и точно звала кого-то на бой, и точно чувствовала в себе присутствие какой-то неотразимой силы, энергии и бодрости...

**План уроков по звуковому методу,  
прочитанный Х. Д. Алчевской в собрании учительниц  
27 сентября 1893 г.**

Когда я думала о том, как именно начну урок по звуковому методу, мне представились не элементы, не буквы, не звуки, а лица учениц, пришедших первый раз в школу с намерением учиться, – эти лица с выражением не то любопытства, не то любознательности, не то конфуза за свою безграмотность. Посадить их прямо за элементы, снабдив доскою и грифелем, или заставить перечислять учебные предметы, как то рекомендуют иные из педагогов, не обласкав и не согрев их теплым словом, мне кажется решительно невозможным. В чем именно должны заключаться эти теплые слова, трудно дать программу – они зависят и от индивидуальных свойств учительницы, и от состава ее группы. С детьми можно говорить об одном, со взрослыми – о другом...

С маленькими мне приходилось говорить о том, как надо сидеть в классе, как нужно относиться к учительнице, к занятиям, к товарищам, приходилось расспрашивать об их домашней обстановке, братьях, сестрах, семье. Со взрослыми держишь себя несколько сдержанней, менее фамильярно, называешь их учтиво «Вы», стараешься ободрить надеждой, что грамота не так трудна, как думают иные, говоришь, насколько мы дорожим взрослыми и почему.

...Я пригласила учениц сесть вокруг стола, объяснила, как держать перо,



как держать грифель, как сидеть и почему не следует наклоняться низко и приглядываться, ни над доскою, ни во время работы (близорукость, вред для груди). Затем, ставши перед классной доской, разлинеенной так же, как и маленькие доски, я спросила их, где верх и низ доски, и сказала, что черточки, проведенные на доске, называются линиями; я сказала им, что проведу сейчас мелом линию сверху вниз и что мы будем называть ее прямою.

Иногда на лицах учениц можно заметить выражение удивления и вопрос, к чему писание этих палочек и что общего имеют они с грамотой и чтением книг, которые приходилось слышать им. Вот почему со стороны учительницы необходимо объяснить на первых же порах, что научиться писать необходимо для того, чтобы писать потом буквы, и что все буквы состоят из этих именно палочек, или линий, как называем мы их.

В первый урок по нашей программе положено проходить 6 элементов:

При изображении прямых, закругленных вверху и внизу, необходимо обратить особое внимание на то, что линии бывают толще и тоньше, – это служит первым залогом красивого почерка. При письме следует с первых же уроков приучать связывать буквы между собою, иначе привычка ставить их врозь затруднит дальнейшие успехи в каллиграфии, которые также необходимо преследовать по мере сил в воскр[есной] школе. Заучивать названия элементов можно то поодиночке, то хором для оживления класса. Можно пройти в это первое утро и больше элементов и меньше, смотря по составу учениц и количеству их. Важно только, чтобы эта первая ступень была заложена прочно и учительнице не приходилось возвращаться постоянно к тому, что элемент называется так-то, а другой так-то, хотя постоянные повторения пройденного, конечно, необходимы. Условия воскресной школы таковы, что спешить с прохождением элементов совсем не следует, и если вместо двух воскресений вы отдадите изучению их четыре, вы можете в продолжение месяца принимать в вашу группу новых и новых учениц. Разница в их познаниях будет только та, что одни из них начнут алфавит с умением писать элементы, а другие без этого умения, что отразится несколько на их почерке, но не помешает им идти вместе с группой. Кроме того, в воскресной школе необходимо считаться с пропусками учениц и разнородными способностями.

Я не думаю останавливаться на последующих элементах, так как название их обозначено в программе и они не представляют собой ничего нового, а перейду прямо к третьему воскресенью, т. е. к началу изучения звуков. Я лично считаю потерей времени обращать внимание учениц на то, какие звуки издают различные животные (не отрицая, впрочем, краткого объяснения о том, что звуки бывают различны), а говорю просто: «Первая буква азбуки называется «а»; придумайте мне такое слово, которое начиналось бы на эту букву». О существовании буквы «а» они наверное слышали, а потому это первое знакомство с нею не покажется им чем-то странным и диким, как, например, мычание, свист (коровье мычание так-то и т. п.). Если ученицы затрудняются или конфузятся, я придумываю сама несколько слов; если и это не помогает, я говорю: «Придумайте имя, которое бы начиналось на букву «а». Прием этот мне всегда удавался. Затем можно раздать ученицам «азбуку-

копейку» и, указавши в ней букву «а», заставить искать ее на других страницах, для того чтобы они привыкли вглядываться в очертание буквы. Затем вы объясните классу, что буква «а» состоит из знакомых нам уже элементов, а именно: «О» и «і».

Таким же порядком выделяется из слов буква «у». Но тут наступает критический момент слияния, и учительнице необходимо запастись терпением, чтобы не подсказать, а достигнуть того, чтобы ученица самостоятельно слила эти звуки.

Вы говорите: «Произнесите разом оба эти звука». Ученица произносит: «а – у». – «Надо произносить не останавливаясь, не переводя дух», – говорите вы. Ученица произносит быстрее, но все-таки порознь. «Тяните дольше букву «а» и незаметно присоединяйте к ней «у».

Таким образом, изменяя прием и изловчаясь на все лады, вы достигнете наконец того, что ученица читает плавно «ау». Вы показываете картинку, на которой нарисован лес и люди, разбредшиеся в разные стороны, и говорите ученице: «Прочитайте под картинкою, что именно кричат эти люди?» И она, полудогадываясь и торжествуя, читает «ау».

Затруднение, которое встречается иногда, не должно особенно смущать учительницу. Человек из простонародья говорит часто вместо «ау» – «аву» и вместо «уа» – «ува», но следует объяснить, что здесь стоит два звука – «а» и «у», а если бы слово это выговаривалось «ува», в нем был бы третий, незнакомый им звук «в».

Если вам удалось правильное слияние *ау*, *уа*, прочитается уже ученицею без всяких затруднений; необходимо объяснить только, что люди начинают читать и писать от левой руки. Без всяких затруднений дается также слияние со звуком «е» и др.

Когда ученицы освоятся более или менее с выделением звуков и разнообразием их, они сами легко будут выделять новые и догадываться, как именно произносятся они. Так, например, читая слово «самовар», ученица смотрит на картинку «Наглядной азбуки» и видит самовар. «Самова» – знакомое ей. Она читает «самова» и тотчас определяет, что незнакомый ей звук называется «р». В школе нашей бывали случаи, когда, бросивши учиться по уважительным причинам, ученица доучивала азбуку самостоятельно и становилась грамотной.

Опять мне кажется излишним останавливаться на каждом из звуков и повторять те же приемы, а потому я остановлюсь только на тех, которые могут представлять особенные затруднения. К этим звукам принадлежат «ю» и «я». Привыкши тянуть звуки, ученицы произносят протяжно «ю» и «я», и в конце у них получается «У», «А».

Вот почему при письме они часто кроме «Ю» ставят еще «У» и кроме «Я» пишут «А». Думаю, что помочь в данном случае может только совет произносить быстро «Ю» и «Я», а также объяснение, что мы диктовали одну букву, а они написали две.

Еще большее затруднение представляют собой ъ и ь. Уяснить их значение в конце слов еще легко, объяснивши, что если слово произносится твердо, то на

конце ставится «ъ», а если мягко, то «ь». Особенное же затруднение представляют эти знаки в середине слова, и я называю их твердой остановкой и мягкой остановкой.

Действительно, если вы произносите *сьем*, *семья* — вы немножко останавливаетесь. Словами, выясняющими разницу, могут служить «*семь*», «*семя*». Вообще, в данном случае необходимо подбирать как можно больше примеров.

«*Й*» принято часто называть «*ий*», что совершенно неправильно, так как заключает в себе две буквы, а потому я называю его обыкновенно «короткое *И*», так как действительно слова, сопровождаемые им, произносятся короче. Здесь также требуется больше примеров.

Подвижная азбука играет выдающуюся роль только на первых ступенях изучения алфавита, заставляя учениц складывать и раскладывать слова на слоги и звуки, впоследствии она должна быть заменена диктовкой с предупреждением ошибок (пример).

Часто учительница, соображаясь с различными способностями своих учениц, разрешает заниматься каждой отдельно, вместо того чтобы вести классное преподавание. Это в высшей степени неудобно, так как вместо 3–4 ч занятий она будет уделять каждой ученице по несколько минут, да и само обучение будет идти вяло и неживленно.

Вот и все, что мне казалось необходимым сказать по поводу преподавания по звуковому методу. Очень может быть, что я упустила что-либо существенное, а потому прошу лиц, преподающих по звуковому методу, ставить мне вопросы, на которые я буду отвечать с полной готовностью.